

*Скрепно. Ватно. Сакрально. Все герои реальны, все совпадения не случайны, все права беззащитны*

*13 июня 1905 года явилась Царица Небесная старицу Филиппу и сказала: «...И день сей явления моего граду Луганскому помни, и учи всех чтить его, о граде же сём скажу, что к концу мира наречётся он—Святоград Луганский. И многие люди будут съезжаться сюда в преддверии этих грозных дней, сами не зная зачем».*

Житие старца-диакона Филиппа Луганского

*Да, у нас строго придерживаются заповеди: «Будь верен духу любви к родине».*

Кобо Абэ. Женщина в песках

*Работайте, братья!*

Магомед Нурбагандов

## Пролог

Последний часовой стоит на страже родного града. И над ним проносится чёрная конница—чёртовы дети ада! Он падает наземь, успев понять, что позади—пустота, Фата Моргана, нет ни Святограда, ни Новороссии, а только дикое голое поле истории. Он умирает с вопросом: «Кому нужна была эта жертва, Господи?»

## I часть

### 1. В огне и под огнём

Есть человек, за которым я бы поехала на край света, на самый край света, туда, где ветер и холод, безнадёга и безысходность, где небо, как чёрная пропасть, без дна, как жена декабриста, хотя, в общем-то, и не жена. И мне наградой было бы счастье быть рядом, пусть и не близко. Но ехать не надо. Вот он—край света, край мира, фронтир, где дышит война.

Ночью бреду по пустому городу, по абсолютно пустому городу. Давно комендантский час. И нет ни единого повода думать, что завтра будет. Есть только здесь и сейчас.

Все снайперы спят. И патрульные спят. И спят часовые. Ангел-хранитель за мою спиною расправил крылья, перебитые в трёх местах.

Сначала по пояс в ноябрьском тумане, потом с головой. В левой руке—фонарик. В правой—нож выкидной.

Вот и дом. В нём проживаем вдвоём: я и старик Петрович. Он кормит брошенных кошек, собак и прочих тварей живых, прибившихся к нашей стае, тех, кто остался в живых, тех, кто остался с нами.

Навстречу мне—пёс наш по кличке Сепар, лопочком хвост. Он боится обстрелов, а в остальном бесстрашная бестия, тёртый новоросс.

Окна крест-накрест скотчем. Окна—пустые глазницы. Дом излучает даже не одиночество, а уныние. Холодно. Ветер воет. И всё-таки есть в этом доме что-то такое, что заставляет меня возвращаться сюда снова и снова, затихать в его утробе живою душою, делающей его существование осмысленным, необходимым, да и моё вместе с ним.

Звалить бы его на спину и унести, как уносит улитка, со всеми пожитками, со старыми фотографиями и открытками, с детскими локонами и дипломами, книгами, письмами, записками, со всеми важными датами, впечатанными в альбомы, с родительскими портретами, дедушкиными наградами, с рисунками самыми первыми, сохранёнными мамой, с его очагом и памятью,—всем тем, что зовём мы домом, всем тем, что навсегда остаётся с нами...

Как-то в газетах писали укрупы, что город наш, подобно Содому с Гоморрой, должен ответить за грехи его обитателей. Роль Бога они отводили украинской армии...

Выхожу на балкон, гляжу в сторону Камброда до рези в глазах. Темно. Светомаскировка. Поэтому курить нельзя. Кружа чёрного чая. Глоток обжигает гортань. Часа через два на линии горизонта—зрелище необычайное. А пока тишина.

И вот трассера разрывают небо, потрошат облака. Тому, кто здесь не был, кто не отличает фейерверк от обстрела, меня не понять.

Мы ли? По нам ли? Свист и гул. Можно было бы спрятаться в подвале, но я туда не бегу, я остаюсь на месте. А город молотят в фарш. Меня защищают нательный крестик и «Отче наш».

Сердце моё в огне, а голова под огнём. Я лежу на спине. Думаю о нём.

Он пахнет дымом. Чем-то близким и детским. Мы стали родными. Когда мы вместе, война отступает, становится лишь войнушкой, мальчиковой жестокой игрушкой. И только шрамы напоминают, что всё всерьёз и серьёзнее не бывает. Новороссия гроз. Новороссия грёз. Видно, это судьба такая: сойтись нам под небом звёздным на перекрёстке истории, продуваемом северным ветром, под огнём перекрёстным смертным.

Пусть нету на гугл-картах, пусть нету на Яндекс-картах этой страны, и адепты вражеской пропаганды твердят нам, что так и будет, что зря, мол, погибли люди, что всё напрасно, бессмысленный, глупый подвиг, нас ждут нищета и кризис, а он мне сказал: «Это долг мой». И записался в «Призрак».

По Донбассу бродит «Призрак»  
От Счастья до Светличного.  
Говорят, комбат мой красный,  
Лишь бы не коричневый!

Я засыпаю и думаю: если дом не накроют из градов, если я не умру во сне, если случайный снаряд не распустится розой во мне, завтра наступит. Наступит... вроде бы. Новый день случится в любимом городе. И я натягиваю на голову одеяло.

Дом вздрогнул. Попадание. Где-то рядом.

## 2. Кони АТОкалиписса

Мирной жизни не существует. Это иллюзия и обман. Кони АТОкалиписса вытоптали Новосветловку, вытоптали Горловку, вытоптали Сутоган. Пронесли по Донбассу без жалости, оставляя кровавый след.

Сосед прятался в погребе, между банок с консервацией, прихватив на обед сухари и воду. Взял и лопату — на случай, если привалит. Арта отработала по городу. Дом цел, казалось, что миновало.

Сосед вышел покурить. Так его и не стало.

Жизнь конечна. Мы об этом знаем, конечно, но думаем, что пребудем вечно, и когда приходит к нам в гости Смерть, не успеваем дверь запереть. А она уже смотрит в дверной проём и говорит: «Пойдём». И вдруг добавляет: «Шутка. Друг, я не за тобой». И в сердце ввинчиваются шурупами радость и боль.

Ты ещё молод,  
Ты ещё полон сил,  
Но наступает опыт,  
О котором ты не просил!  
Всё меняется.  
Меняется мир.  
Меняется матрица,  
В которой ты жил.  
И день считается удачным,  
Если он наступил.

Раздобыть воды, раздобыть еды — вот и все мои на день труды. Нечего есть, и холод собачий. Я вытряхиваю последние деньги из заначки и выхожу на улицу, чуть не плача. Я говорю себе: мы победим. Я говорю себе: потерпи. Я говорю себе: день считается удачным, если он наступил.

Ночью выпал снег: стало белым-бело. Но после артобстрела алые следы на нём. Артериальная кровь заполнила отпечаток человеческого тела и застыла льдом. Красное на белом. В горле ком. Ни выплакать, ни выстонать, ни забыть. И вдруг я понимаю, что привыкла к безжалостному лику войны, внушающему липкий страх и животный ужас. О, как я раньше боялась, но что-то, видно, внутри сломалось... Я мыслям своим улыбнулась. Я больше не буду пушечным мясом, а буду ядром, снарядом, маленьким жгучим адом, ответкой! Меня заждались поди уж.

Однажды ты встаёшь на тропу войны, а она оказывается широченным проспектом! Братья и сёстры, дочери и сыны летят на скорости прямо в бессмертие. Жалят осколки, бьют по глазам, липнут бессмертники прямо к берцам, и не выдерживают тормоза. Главное, выдержало бы сердце.

Крепись, моё сердце, оденься в броню, я ни о чём не жалею и уже ничего не боюсь.

## 3. Убивашка и лимонка

Нацбольшкий отряд имени Хлои Морец, актрисы из фильма «Пипец».

Пьяный Воля, доброволец, записывает видеообращение к укропам: «Ты хочешь славу героя, а получишь полный пипец! Захлёбываясь собственной кровью, где-нибудь под Дебалеи подохнешь, мать не узнает, где тебя похоронят, в какой канаве. Оно тебе надо, малец?!»

Располага называлась бункером. В спальниках на полу здесь спали разные люди, перед тем как уйти на войну.

Да здравствуют интербригады! Как при старике Хэме. Во времена, когда Луганск звался Ворошиловградом, была такая пивная — «У Хэмингуэя». Недавно прямым попаданием этот дом раздолбали, что и говорить, но я-то знаю: человека можно уничтожить, но нельзя победить.

«Тотальная мобилизация», печатный орган «Другой России», раньше звалась «Лимонкой» — мы на стол её постелили. Картошка варёная, водка палёная, тушёнка, граната Ф-1. Характерный натюрморт.

— Наливай. Не томи!

— Я не осилю.

— Пей!

— Ну, за Победу!

Закусили.

— Ещё налей!

И гром обстрелов был не страшен. И в наступившей тишине фиалкокудрая смешная Убивашка подмигивала мне!

На трофейной машине с нацболами ночью мы мчимся к Одину, везём ему морфин, живот ему разворотило пехотной миной, но он остался жив.

Он просит:

— Док, дай две. Ну Бога ради.

Тишина и запах крови в палате.

— Хочешь увидеть радугу? Нет. Терпи, друг,— и Док ему протягивает ампулу. Одну.

По пустым коридорам больницы— бегом.

— Док, он выживет? Док... Ты почему молчишь?

— Конечно, малыш.

Я не плакала, просто знала: скоро примет его Вальгалла.

Док меня троллит: может, надо было бежать-спасаться? Стать временным переселенцем? Жить, наслаждаться где-нибудь возле моря?

А я, указывая на сердце, твержу: не отпускает.

И он смеётся:

— Вместе мы—Гималаи! И достанем до Солнца! И нас не догонят, а если б догнали, мы бы им показали не английский фак, а наш русский кукиш.

Наливает стопку:

— Будешь?

— Будешь!

Мы мчимся всё время на красный, дорога пуста. Док пьян и весел, и я весела. Или, как водится, навеселе. В трофейной тачке, шайтан-арбе, наклейки с голыми бабами и Богородица на лобовом стекле.

Храни же нас, Мать Божия,

Трезвых и в пьяном бреду,

Грешников и безбожников,

Верящих лишь в мечту.

Храни же нас, Благодатная,

Прими нас под свой покров,

Безымянных солдат твоих,

Воюющих за любовь.

Храни же нас, Дева Пречистая,

Ибо обречены

Маргиналы и экстремисты,

Джедаи вымышленной страны,

Выстраданной Новороссии,

Новороссии гроз и грёз!

Ведёт нас жемчужной поступью

Сын твой в венке из роз.

Док говорит: между залпом «Града» и ответкой можно сделать четыре затяжки (он любит красный «Бонд»). Четыре затяжки— всё, что успеется перед тем, как по тебе долбанёт, перед тем, как тебя—на четыре стороны с комьями земли. Док помнит, как

у ротного zenки из черепной коробки выкатились, незабудками зацвели.

Док говорит, что приехал сюда помирать, да нечаянно выжил. Те, у кого удача поживе, здесь лежат в новых могилах братских, в наших степях донбасских, укрытые ковылями и разнотравьем Дикого поля, зимою—снегами по пояс.

Все мои сказки—об этих героях.

#### 4. Сказки-рассказки

У них были позывные Дафнис и Хлоя. Только война—не идиллия, а треш. Он подорвался на mine на рубеже, ей оторвало голову при взрыве. Их похоронили в одной могиле. Этой зимой в районе сорок восьмой параллели, в поле, ветра́ им пели свои пасторальные пени, и глухо вздыхал террикон.

Архип с позывным Истребитель наелся пластида, перепутал его с халвой. Он стал представителем нового вида. Он теперь как супергерой.

Ничего не меняется из века в век. Жизнь на войне полна геройства. И полна нелепостей. Из котла он выносил в своём вещмешке кошку Царапку, мурлыкающую от нежности.

На войне как на войне...

Кто заплачет обо мне?

Только мамка, только мамка

Там, в далёком далеке!

Только рыжая Царапка,

Что носил я в вещмешке!

Рассекая туман, будто ножик масло, на своих «Жигулях», Вован нечаянно заехал в Счастье и напоролся на вражеский блокпост.

Когда-то, в мирные времена, у нас был тост: «Выпьем за Счастье! За тэц, что у тебя в груди!» Там ведь теплоэлектростанция. Теперь она заминирована айдаровцами. По ней не стрельнёшь!

Другое дело—человеческое сердце, маленькое тёплое человеческое сердце. Оно так легко ломается. Его так легко насквозь—пулей повышенной пробиваемости, с термоупрочненным сердечником.

Так Вован попал из Счастья прямоком в Вечность.

Амнистию дали тем, кто встал под ружьё. Сначала Серый—к бате и к матери, а потом на войну ушёл. Мать говорила: иди помолись, свечку поставь—сохрани-спаси. Отец говорил: ты же знаешь сам—не верь, не бойся и не проси! Так что, сын, не ссы: шальная пуля—шальной башке, но пусть в кармане дуля—палец на спусковом крючке.

Бабе лето. Никто здесь не ждал непогоды, но «Ураганы» и «Грады» пронеслись по Донбассу. Укропы лупили по Первомайску. Октябрь стал адским. Каждый день—минимум три пожара.

Пожарные их тушили. При обстрелах не бежали в убежище, а прятались под машиной. Потом продолжали. Никакого геройства. Просто работа особого свойства.

В подвале дк имени Ленина люди прячутся от бомбёжки.

— Когда-то здесь пела группа «Машина времени», — рассказывает вахтёрша. — А теперь вот крыша течёт, да и Макаревич совсем не тот!

Хаты, побитые «Градами». Хаты, побитые гадами. Помню, дом с перекошенным ртом дверного проёма застыл в вопле немом после арналёта.

Бабулька собирает пожитки:

— Жили мы, жили, да ничего не нажили. Только привычку к простору, чтобы выйти в поле, и сколько хватает взора — степь: ковыли да маки, и сокол летает, как ангел.

А я ей вторю:

— Жили мы, жили, да ничего не нажили. Лишь привычку к раздолью, чтобы выйти в поле, и до самого горизонта — моё, родное!

На заводе прокатных валков — Сталинград. Три дня подряд горел цех разливки стали, когда его обстреляли.

— Была бы станина, — мечтает начальник цеха. И руки его от работы черны и огромны. — Станки отстроим. Отремонтировали же домну!

Ствол шахты «Знамя коммунизма» затоплен. Грунтовые воды. Старейшая шахта 4-бис. И люди сидят без работы.

— Разве это жизнь? Доедаем свои гробовые. Горе мне, горе, — вздыхает бабуля. — А впрочем, и это неплохо. Ещё немного — и придут гуманитарные конвои, весна, а там, глядишь, и Победа.

## 5. Последняя обойма

В съёмной хрущёвке холодно, дует из всех щелей. Мы не виделись с ним полгода. Он ничей. Да и я одна. Впрочем, и у него, и у меня — война.

Но вот мы вместе, и рация отключена.

«Милый, родной». Дышу им, он пахнет войною, сначала дымом её и тленом. А после — теплом и домом. Он мои раздвигает колени: «Лена». И в это мгновение я стану его колыбелью, прикрою, укрою, будто землёю, собою, собственным телом.

Всё, что может дать один человек другому, — немного нежности и тепла, совсем немного. Мы с ним под одним бушлатом, пропахшим машинным маслом, окопной грязью, глиной и чем-то простым и забытым, как это говорят... счастьем.

«Милый, мой милый... ты меня не забыл». Ангел его легкокрылый плачет навзрыд.

Мне рассказывал он, и дрожали ресницы:

— Знаешь, чем пахнет поле пшеницы, ставшее полем боя, чёрным от дыма и сажи? Подгорелой пшеничной кашей!

...Ещё он принёс мне сгущёнки — солдатский паёк. Сладкий чай. Но не слаще поцелуя. Всё хорошее случается невзначай. И повторения не будет.

Он хочет золотого «стечкина» — а почему бы и нет?! А я не отказалась бы от нагана. На палец он надел мне колечко от РГД и рассказывал, как сгущается тьма над Сутоганом. Как из нор появляются орки или дрг... Милый, в той маленькой комнате, на голой стене, осталась последняя обойма стихов, посвящённых тебе.

Знаешь, что такое поэзия?

Это ночью со своего балкона  
Заметить созвездие Ориона  
И на правом его плече —  
Звезду Бетельгейзе.

В моей Новороссии,  
Где всё так неясно,  
Где будущее — туманность,  
А прошлое поломалось,  
Где гуляют ночные волки  
И контрабасы  
Прячут нал и обрезы, —  
Это всё что у меня осталось:  
Пуля, лира и звезда Бетельгейзе.

В моей Новороссии,  
Не нанесённой на гул-карты,  
Где всё так просто  
И так понятно,  
Где полевые командиры  
Отправляются в космос  
На лифте,  
Где терриконы безумия  
Страшнее, чем у Лавкрафта, —  
Здесь есть место  
Для подвига и для мести.  
Наведи свой зум —  
Поглядим на звезду  
Бетельгейзе вместе,  
Мой команданте!

Когда же она взорвётся,  
То вспыхнут в небе два солнца!  
Потому что таким, как мы,  
Одного мало!

Прощание было коротким.

— Пока, — и поцелуй в лоб.

Пойти, что ли, ё...нуть водки, полегчало чтоб!

## 6. Ты есть

Уже не спасает молитва, а только стих, сопряжение рифм и ритма с биением в груди. Так, будто

за паузой у меня соловей. Его не поставить на паузу, он вечно play. Просится в небо, а отпустишь — из лужи пьёт. Я плачу в подушку. Думаю о нём.

Сначала он был пользователем ПК — персонального компьютера, а стал пользователем ПК — пулемёта Калашникова. Жизнь непредсказуема, особенно если ты безбашенный, или, как говорят, придомбашенный. Сначала зачитываешься «Революцией от кутюр», а потом сам делаешь революцию, только нашу, русскую.

Казалось, промчались годы, а всего лишь прошёл один. Мы были наивны и молоды, жаждали новых вершин. Я готовилась поступать в магистратуру, а он — во Французский легион. Он занимался со мной французским под дождём: *il est, elle est, nous sommes*. И только Богу было известно, что будет с нами потом. Как мы будем друг другу сниться, в военный врасдая быт.

Капли на щеках были солёными.

Дождь всё лил и лил.

## 7. Предчувствие

Быстрокрылые голуби приносят хорошие вести. Вороны — вести дурные. Я смотрю, как летают они над городом в полном безмолвии, похожие на сны мои.

Милый, что тебе снится? Девушка в белом платье? Дом, в котором вырос ты? Или товарищи-братья, погибшие при обстрелах?

Ты недавно мне снился, но сон я почти не помню. Волосы мои были белыми, а платье — чёрным.

Имена погибших печатают на листах и вывешивают на стенке Дома профсоюзов. Я помню, как она подошла и как она окаменела. Будто взглянула в лицо её Горгона Медуза.

Горе стало в горле комом.

Не выплакать.

Ангелы-хранители,

Укройте её своими крыльями!

Горе стало в сердце колом осиновым.

Не вытащить.

Ангелы-хранители,

Укройте её крыльями своими!

Горе стало пред нею глыбой надгробной.

Ангелы-хранители,

Своими крыльями укройте её!

Только криком-рыком утробным зовёт она не ангелов-хранителей, а демонов мщения!

И не вымолить врагам у неё прощения.

Я тоже у этой стены застыла, имя твоё искала. Искала, искала и не находила. И глупо так улыбалась. И улыбка с лица не сходила.

Сколько парней луганских, сколько парней донецких выросли здесь по соседству, были друзьями,

бегали на Донец и на терриконы залезали, орали в подъезде песни Летова и Цоя. А теперь надели кресты нательные и военные медальоны, нашивки с группой крови на рукаве и солдатские шевроны. Романтики и циники, пай-мальчики и гопники стали солдатами на неожиданной этой войне.

Кто он, враг? Вы по сети играли в Warcraft, он был отличным стратегом, а теперь он по другую сторону баррикад и скоро удобрит пашню мягким и тёплым телом. Как он похож на наших, таких же ребят. Казалось, вчера ещё вы за партой сидели, а теперь всё чаще глядите друг на друга через прицелы.

Док показал мне трофейный телефон. На нём смс от матери: «Синочок, ты поранений?» Жалко мне стало мать, слёзы сдавили горло, но я вспомнила наших солдат и смс-ку стёрла.

Есть только голос.

Нитка разговора

Всё время рвётся...

Громыкает «Град».

И ничего не остаётся.

Лишь... ад.

— Алло! Алло! — пробиться сквозь разрывы.

— Алло! Алло! — пробиться сквозь войну.

— Алло! Любимый! Я тут!

«Ту-ту...» — идут гудки, похожие на стоны.

Идут гудки, а через миг их нет.

А это значит: абонент вне зоны,

А может, абонент не абонент!

Милый, где твой ангел-хранитель? Может быть, он тебя оставил? Что он делает? Где он ходит?

На каком задании и в какой засаде? Или пьян лежит в Диком поле?

«Ангел мой, иди со мной, ты впереди, а я за тобой, мимо мин и растяжек незнакомой тропой. Не теряй меня, прошу, не теряй, ангел-хранитель мой.

Я же твой безымянный солдат, говорю невпопад и бреду наугад. Через поле и сад, через смрад, через ад, не щадя живота своего.

Вся надежда моя на тебя, и последний в обойме всегда для себя, и сим-карта моя за щекой. Не теряй меня, прошу, не теряй, ангел-хранитель мой».

Целый месяц не было связи. Казалось, живёшь ты, ни с кем не связан, ни к чему не привязан, никому не обязан, по большому счёту — делай что хочешь, иди с Богом или катись к чёрту. Но что-то держит, не отпускает. Видно, это судьба такая, а может, вера в Победу. Кони мои привередливые мчат по краю, куда — не знаю... навстречу ветру!

Когда зазвонил телефон, я думала — это он. Я думала — это милый. Но голос был незнакомый, сиплый. — Бережёного Бог бережёт, а не бережёного конвой стережёт. Его ангел летал у моего ствола,

да крылья обжёт. Хочешь увидеть живым? Не обещаю, что невредимым.

— Говори, что для этого необходимо?

— Десять тысяч евро — и пакет «Ангел-хранитель» вновь активирован: и я в список на обмен внесу твоего любимого.

## II часть

.....

### 8. Старые шрамы. Соловейко

Он ей на лбу вырезал звезду, слюна проступала в углах его губ и ярость. А она смотрела в лицо врагу и... смеялась.

Когда её повели к яру, шла сама. Гордо шла и не спотыкалась.

«Весна-весна, как же ты пела мне — капелями на все голоса. Долгожданная моя, последняя, не бросай меня, не бросай!»

Снег растаял там, где она упала. Алые проталыны, и земля красна. Расстреляли прабабку за связь с партизанами. И отпела её весна.

А прадед погиб, я не знаю точно, в сорок первом или в сорок втором. У них остались сиротки-дочки. Жили у тётки своей родной.

Галя-красавица белолица, Галя-красавица черноброва. Где ты была, Богородица, со своим покровом, когда фриц увидал сестру её Милу?

— Тикай, Милка, тикай! Тикай, ради Бога!

Вот стоит она, недотрога. К сестре преграждает дорогу. Он рванул за запаску. На траву повалил.

Над нею звёзды ясные. Под нею китель со свастиками. И соловейко не щебетал, а зло насвистывал нахтигаль.

— Галь!

Выпила из кринки молока. Облизнула белые усы. Обтёрла губы о рукав, чтобы наверняка. Поправила косынку и со вздохом:

— Что-то плохо мне... белый свет не мил, и темно в глазах. Что со мною, Мил?

— У тебя под сердцем враг, Галь!

Чёртов нахтигаль.

Она бы его утопила, да Мила отговорила, да Мила его отмолила, к старцу Филиппу ходила. А старец был не простой, он дал ей картину, на ней то ли Последний праведник, то ли Последний часовой. На голове будёновка, а в кобуре наган. Смесь иконы и плаката. Он поражает дракона копьём, стоя на страже Святограда...

Валялась икона дома среди старых игрушек детских. Но перед тем, как уйти со Стрелковым, отец отыскал материно наследство. Поставил в красном углу. И оставил меня одну.

## 9. Ночь отчаяния

Зубастые бомбы вгрызаются в мясо домов. Гека-томба Донбасса. Это жертва, которую мы приносим, это плата — кровь и слёзы. Что, если она бесплодна? Не будет ни Новороссии, ни Святограда, а только голое поле истории, а посерединке воронка ада?

Док говорит:

— Довольно! Хватит жалеть себя. Люди судят со своих колоколен. Сетуют на башни Кремля! Говорят: мол, в поле один не воин. А я говорю им: да. В поле один не воин. В поле один — великан! Ты же помнишь паренька, он работал на автомойке, а стал героем, со смешным позывным Моторола?!

Там пролегает наша земля, где за неё умереть готовы!

Наш Святоград стоит на плечах Атлантов, простых солдат.

— Но где раздобыть десять штук, скажи мне, друг?

Док говорит:

— Собирайся в путь и икону свою не забудь. Есть связи на ниве контрабанды. Продашь её знакомому литератору в Нидерландах. Вот тебе роад-мап, сейчас сочиним легенду... Поедешь ценности продавать?

— Поеду!

Ставлю ветку вербочки в гильзу от ПТРа:

— Господи, дай мне силы. Господи, дай мне веры. И веры по силам, и силы по вере! Чтоб всё сносить, ничего не просить и не бояться смерти!

## 10. Травелог. Республика

Мы ехали степью, заснеженной степью, пара вояк, гражданский и я. Солнце запуталось в ветвях деревьев, и одинокая птица, как говорят, samotный птах, без движения, будто флюгер в безветрии полно, сидела на проводах.

— Куда держишь путь? — я спросила гражданского.

Он нехотя отвечал:

— Я не случайно здесь оказался, — вздохнул и опять замолчал. — Брата Алёшку ищу. Нам бы встретиться, о важном поговорить. Он, говорят, в ополчении...

На этом прервалась нить нашего разговора. Зато Юра (позывной Волга) говорил без умолку всю дорогу — цветисто и долго.

— Мы здесь каждый угол знаем, в этих дебрях мы боги. Тут каждый терриконт стреляет, а эти суки-укропы не знали, тут теперь и подохнут. Вот он, секрет успеха. Что у нас было сначала? Топоры, обреза, мачете, трёхлинейки, ружья, тт-хи. Ещё пара наганов. Всё, что есть дома у простого донбасского хулигана.

— Ночью стреляли. Днём варили миномёты. И знаешь, пошли, как дети в школу, все мины сорок третьего года. Прямо в фашистскую свору. Пошли по назначению, хотя сначала мы сомневались: что в них толку-то? что в них проку-то?—мы, бывшие токари и наладчики, ныне солдаты народного ополчения.

— Котомка с патронами на боку. Сто пятьдесят патронов—это ни о чём, но можно повеселиться. Кончился бой—остался один патрон. Только застрелиться.

— Когда вокруг гремит, когда вокруг летает, бьёт СКС-ка сильнее «калаша». И сердце замирает, и уходит в пятки душа. Но ничего, прорвёмся, брат, прорвёмся. Какое небо рвут на лоскутки! И кажется, уже не встанет солнце! Но умирать сегодня не с руки!

— Это была сладкая мишень. Нам дали добро их кошмарить, сказали: работайте, хороните. А нам только того и надо—угробить тварей, подонков и троглодитов. Это была сладкая мишень. Они не окопались. Гробили местных, это казалось им просто. Семнадцатилетней Марусе прострелили шею, убили на месте, когда она забрела на блокпост их. Это была сладкая мишень. Гасилово. Молился мысленно: «Господи, спаси и помилуй нас».

— Юра!—сосед звонит мне.—Когда нас освободите?

— Жди, Витя. У тебя два сына, а вы всё сидите!

Ещё вспоминал Юра с позывным Волга про переговоры.

— Мы им: едьте, забирайте жмура, лыцаря Бандеры. Не бойтесь! Гондон на голову натянем, проведём, никто не тронет и не проверит. Не забирают. Боятся. Бессмысленно предлагать-упрашивать. Ну а что, мы не собаки—похоронили. Написали, значит: «Укропу от казачества». Чтобы было всё по-людски, каждому хочется. Кум говорит: «Буду за могилой ухаживать, когда война закончится».

— Как же вы, укропы, старались: жалость вытравили снарядами, разрывными и «Ураганами»,—а она всё прорастает в нас, пробивается, как разрывтрава сквозь наст, сквозь броники и разгрузки... Так по-человечески, по-русски.

И добавляет:

— Думали, один, а их с десятков, по посадкам и в Кременной, в яру. Одно я знаю: если я умру, мой меня не бросят, своих «двухсотых» на себе выносим.

Иногда бывает как в кино: ночь, дорога, артналёт. А режиссёр кто? Бог? Или тот, который претендует

на его место? Враг мой? Друг мой? Или кто-то третий? И, совсем по-детски, мучительно хочется хеппи-энда.

## 11. Казачий разгуляй

В Луганске стоят два британских танка—трофеи Гражданской войны. Красные отбили их у Врангеля. Сейчас они включены в перечень охраняемых памятников. А когда-то прятались в них беспризорники от ментов и зимы.

Один танчик носит имя «Дерзкий». В нём и жил в своём беспризорном детстве Николай Иванович Тараневский. Когда вырос, стал строить храм всех религий, потом православный храм... Там нас и приютили, мы от обстрелов спрятались там.

Не в землянке и не в палатах, а в недостроенном храме.

Итак, казачий полк имени Платова. Разведки. Вылазки в глубокий тыл. Подрыв складов боеприпасов. К комбату обращаться на «ты», называть Батя.

— На войне всё понятно: крепно, ватно, сакрально. Не выделяйся. Веди себя достойно. У нас каждый офицер заработал своё звание кровью. Не выделяйся. Будь мужчиной. А не то получишь финку в бочину!

Попутчик мой был сильно ранен, тот, который гражданский. Плакал, плевался кровью.

— У нас закончился морфий... Правда, есть кетамин.

Затих. Глаза закатились. В миг один.

— Не факт, что доживёт до утра,—Волга перекрестился.—Помолись за него, сестра!—и удалился.

«Мне кажется, я на крючке... я будто рыба на пске... на лавке в храме, с кетаминовой капельницей в руке, проживаю все перинатальные стадии.

Где я?

Нигде!

Где я?

Везде!

Где я?

Мне кажется, я умираю. Мне чудится, как на мосту стоит на посту, стережёт пустоту Последний часовой несуществующего града.

Есть ли выход из этого ада?

Я знаю: надо всё взорвать, чтобы древний океан Тетис затопил территории эти, чтоб ни черта не осталось, только водная гладь и ветер!»

Он бредил:

— Взорву всё на фиг.

Кричал:

— Подохнем, утопнем, скроемся под водой!

Мне стало страшно, на него глядя: «Помоги мне, Последний праведник, Последний часовой!»  
Я достала свою икону, замотанную в рушник.  
Поставила на подоконник, среди патронов и книг.  
Шептала молитву, покуда хватало сил, но усталость меня сморила, и сон был похож на фильм.

Говорила я костлявой:  
— Не отдам.  
Посмотри, какой он молодой!  
А она, смеясь беззубым ртом,  
Отвечала:  
— Отдавай!  
Теперь он мой!  
Умоляла ангела:  
— Спаси.  
Он сказал:  
— Я занят. Не проси!  
Заклинала демона:  
— Вступишь.  
Он в ответ:  
— Меняю смерть на жизнь!  
На живой души твоей огонь.  
Но Последний праведник, Последний часовой  
Размахнулся, поразил его копьём:  
— Повоюем мы ещё с тобой!

Волга меня разбудил. Быстрее, сказал, собирайся.  
— Ну, с Богом! Себя береги. И... возвращайся.

### III часть

#### 12. Травелог. Украина

Я теперь не сепар и не террористка.  
Я теперь не вата и не колорад.  
Что тебе за дело, какая у меня прописка?..  
Нет такого города—Ворошиловград!

В доме выбиты окна. Крутом осколки стекла. И нет никого, кто помнит, какая здесь жизнь была.

Крутится шестерёнка, крутится шестерёнка, крутится шестерёнка—маленькая юла. Когда я была девчонкой, маленькая шестерёнка, маленькая шестерёнка любимой игрушкой была.

Папа принёс мне её с завода. Завод назывался тогда «Донсода». Теперь здесь стоят укропы. Ушёл отряд Мозгового.

Мой край родной, мой город детства,  
Как защитить тебя и как поднять с колен?!  
Мой ареал юродства и блаженства,  
Земная колыбель  
Моих поэм.  
Лисиче над Дінцем...  
Давно нема заводу.  
И небо не копят столбы высоких труб.  
Ты будто бы ушёл под воду,  
Вглубь.

Ты затонул...  
Так на моих глазах тебя накрыло  
Волной войны,  
И над тобою журавлиным клином  
Мои стихи, воспоминанья, сны...  
И души тех, что пали в сорок первом,  
И тех, кому четырнадцатый год  
Уже иного, двадцать первого, столетья  
Проснуться не даёт.  
Пройтись по улицам твоим родным и узким,  
Нарвать полыни у родных могил...  
Мне остаётся рифмовать: вернуть—вернуться.  
Ждать: ты появишься, как Китеж из глубин.

Вот и мой поезд на Киев. Верхняя боковушка, последнее купе. Я, как невидимка, буду лежать и слушать. Буду лежать и слушать—и в две дырочки сопеть.

— Солдаты, которые из АТО, бухают по-чёрному,—шепчет суровая тётка, чей жизненный опыт отпечатался на лице—морщинами чёткими и глубокими—и на большом и тёплом материнском сердце.  
— Зачем вы пьёте? —спрашивает сержанта.— Зачем вы пьёте?

А он пьяные бельма пялит, с горла отпивает жадно, сердится и отвечает ей:

— Дура! Разве трезвой ты сможешь стрелять из автомата в живых людей?!

Временные переселенцы. Ничего не бывает таким постоянным, как временное. Скитальцы. Невозвращенцы.

Она была из таких, кто поддержал Украину. Наверное, надеялась: сможет вернуться. Но не тут-то было: съёмные квартиры, чёрная работа...  
— Чтоб вас всех там разбомбили, москворотых!

Скажи же мне, тётя, чиста канкретна: небесная сотня, Майдана сакральная жертва, оправдывает убийства ни в чём не повинных мирных? А впрочем, для них мы все виноваты: пособники террористов, сепары, вата.

Вновь жернова истории кровавы. И невозможно их вращать назад. Нас узы братские соединяли, могилы братские теперь разъединят.

«Ой, у вишневному саду, там соловейко щебетав.  
До дому я просилася, а він мене всё не пускав.  
До дому я просилася, а він мене всё не пускав».  
Нежные эти песни растоптал Майдан. Светлого моего детства песни растоптал Майдан. Из самого сердца песни растоптал Майдан.

Киев мне пишет послание, на задворках, витринах, обочинах, Евангелие Майдана, неразборчивым, быстрым почерком. Революция от кутюр.



Революция достоинства. Ла-ла-ла Путин — на каждом заборе пророчество!

Утопая в рекламе и спаме, разрываю словесную цепь: вы смеётесь в начале, а мы посмеёмся в конце.

«Все депутаты — уроды», «Мне пофиг, я — Нео», «Наде Савченко — свободу», «Воскрес Джон Леннон».

Но помнят советские стены в центре и в подворотнях о том, что Ленин жив априори. Бенкси изобразил на роликах Ильича. Он мчит на колёсиках, хохоча. Пока на Украине который день подряд — ленинопад.

Аэропорт Борисполь. Вылет через час... Показываю паспорт свой. Украинский. Такой вот декаданс. А вокруг тьма народа. Над гейтами плакат: «Наде Савченко — свободу». Что тут сказать?

Повезло же тебе, Надюха, ещё поживёшь, укропская потаскуха. Лётчица, где твоё крыло?! Ничего, жизнь расставит всё на свои места. Быстро проходит земная слава... Киев, прощай! От винта!

### 13. Травелог. Нидерланды

Я жила в доме, где щебетали часы птичьими голосами, в доме волшебника, чьи заклинания делали близкими далёкие земли. Родные гласные, выпеченные в гортани, шифровались печатными знаками, мне неизвестными. И колокольчики над входной дверью хохотали ласково. Мой проводник, переведи меня на другой берег. И знай: так далеко я ещё не ходила.

Русские писатели — хитрая комбинация: один — бандеровец, а другой — еврей. Русские писатели в эмиграции. Водки не жалеи.

Лампа в зале из балалайки сделана, кий и шпага на стене. Игра закончена. Борьба продолжается. Я пью водку, полирую пивом, заедаю пельменем, и мне кажется: сейчас откроется дверь, и в комнату ввалятся цыгане с медведем.

Вот он, метатекст неоконченной поэмы: напиться по-русски, задаваться вопросом по-русски: в чём смысл жизни? Зачем всё это? И не находить ответа.

Ах, Европа. Эх, Европа,  
Кружевные труселя...  
А мою прикроет жопу —  
Ясно что! Рука Кремля!

Я проснулась в какой-то лодке. Я проснулась в каком-то канале. Это всё русская водка. Это всё голландский канабис. Пошла на встречу, не похмеляясь.

В Лейдене небо в тот день было карамельное. Я заглянула в кафе «Эйнштейн», заказала latte и пила его медленно-медленно, глядела, как писатель М. жонглирует морфемами. При свечах с бокалом белого. И думала о том, как писатель П. делает

Русскую революцию, в этом веке первую, как он мокнет в окопе в районе Тельманово. И между ними бесконечное море поэзии и мой утлый чёлн у берега.

Мой собеседник сказал:  
— Показывай свой товар!

Я развернула рушник, а он смотрел на меня и молчал. Вместо иконы там был скетчбук. Он выпал на пол из моих рук...

Это мистика или подмена? Каков ответ?  
Не состоялась моя сделка.  
Иконы нет!

Это был странный опыт. Не повторить. Попробовав волшебный гриб, я листала альбом попутчика. Жив он или погиб? Всё, что было нарисовано гелевой ручкой, происходило будто со мною. Удивительный получился трип.

### 14. Скетчбук. Майдан

Со всех экранов слова одни: в правительстве только монстры, оборотни и упыри. Выбор простой: сражайся или умри.

Кажется, это начало игры. Но так начинается ад, и на первом этапе всё слишком обыденно, чтобы казаться адом... Пока всем народом мы на Майдан и... Геть злочинну владу!

Панду геть!

Мне выпал шанс, хочу успеть,  
Глаза в глаза. Вперёд, на вдохе,  
В лицо не признавая смерть,  
А только подвиг.  
Хребты разбитых баррикад.  
По позвонку стрельба и пламя.  
И круг за кругом новый ад  
Владеет нами.

Как причитание, плывёт  
Звон колокольный,  
И пуля, что во мне совьёт  
Гнездо, уже в обойме.

Коктейли Молотова. Бери безропотно. Вливай их в чёртову аорту войны. Мы чокнутые, мы упоротые. Родина, мы твои сыны!

«И дочери», — говорит она.  
А чёрные её очи — как бездна без дна!

Я тебе пришиваю пуговицу,  
Чтобы ветры на перекрёстках,  
На морозных, промозглых улицах  
Не цеплялись руками хлёткими.

Я тебе пришиваю пуговицу,  
Чтобы ветры на баррикадах  
В схватке яростной революции  
Не хватали руками жадными.

Я тебе пришиваю пуговицу  
Ниткой крепкой и без напёрстка,  
Чтобы ты невредимым вернулся,  
И шепчу: «Храни тебя, Господи!»



Брусчаткой Крещатика тщательно  
Украину новую строй!  
Покрышкой, и валашкой,  
И кровушкой людской!

Нельзя ни забыть, ни простить; кровь смывается  
только кровью; тело её положив на щит, мы выно-  
сили её из боя...

Считаем убитых. Пали от пуль. Смотрите! Их  
имена растворяются в наших слезах и молитвах.  
И призрак войны гражданской живой обрастает  
плотью, бесчувственный и кровожадный. Он  
требует новых сотен... Героев, на поле павших,  
своих убивающих братьев. Родина стала маче-  
хой. Её разорвём мы на части. Удобрим телами  
пашню, сольёмся с её ландшафтом и станем ей  
сопричастны.

Её разрывая сердце, войдём в её мифы и были  
и новым солдатам на берцы осядем дорожной  
пылью.

Новым, тем, что родятся с нашим горячим  
пылом. Пока мы считаем убитых.

Их имена растворяются в наших слезах и молитвах.

Мы хотели как лучше. Мы заложили мину: «Ви-  
бачте за незручності. Ми зминюємо країну!»

## IV часть

### 15. Травелог. Возвращение

Так значит, мой попутчик — укроп... в бреду гово-  
рил он, что всё взорвёт... и неясно, жив он ещё  
или мёртв. Надо связаться с Волгой! Чёрт! Меня  
накрывало паникой, будто взрывной волной. Пора  
возвращаться домой!

Укропские танки зарыты в землю, будто зубы  
драконьи. Кто знает, что с нами будет? Надолго ли  
перемирие? Состоится ли обмен? Я возвращаюсь  
на Родину. Ни с чем!

Его готовили к обмену, но что-то там не сложилось.  
Знаете, как это бывает. Сказали, убит при попытке  
к бегству. Сердце моё остановилось. Пропустило  
ударов несколько. И зачем-то опять пошло.

Пусть летят мои письма, без цели и смысла, как  
птицы, исписанные страницы, нескладные рифмы,  
пели — и стихли, и даже гнезда не свили, дни напро-  
лёт я говорю с тобой, милый.

Дети воздушной стихии, песни мои и стихи,  
летят между болью и былью — крылатая эскадри-  
лья. И кажется, я позабыла, что адресат уже выбыл.

А мне сегодня снилась воля, заря, степные ковыли,  
раздолье, небо голубое, и ты зовёшь меня вдали,  
а я, как перекасти-поле, лечу, не чувствуя земли!  
Барвинков брызги на подоле — они же как глаза  
твоя, с такой же дерзкой синевою и детской жа-  
ждою любви. Весна накроет нас волною, ты нам  
рубашку постели. И будет чёлн, и будет парус, и  
ветра, ветра в паруса, и я от счастья просыпаюсь  
в слезах.

Будь проклята война.

И те, кто пожинает жатву!

Я помню мать солдатскую, она

Перекрестила сына, провожая.

Я помню дом, разбитый в страшный час

Неотвратимым залпом миномёта,

И звёздный купол, как иконостас,

И землю, словно адский противень!

Я помню сад... и между двух берёз

Повисли деревянные качели,

И сок берёзовый, прозрачней чистых слёз,

И как берёзы белые сгорели!

Сгорели. Обе чёрные стоят,

Как схимницы, а были как девчонки,

Весенний шелест — ласковый набат,

И щебет птиц, пронзительный и звонкий...

Мы сёстры были. Сёстры по весне.

Теперь мы сёстры по скорбям и горю!

Мне, как и им,

Уже не знать покоя

Под этим небом

Среди бурь и бед,

Средь гроз и грёз.

И остаётся только

Надеяться,

Когда надежды нет,

И средь безверья

Верить,

Корнями памяти врастая в землю эту,

Чтобы сродниться с ней,

Остаться в ней навек.

### 16. Наш пейзаж

Добиралась я автостопом. Водитель суров и светел.  
Ехали без разговоров. Летели сквозь снег и ветер.

Скрипит колыбель Донбасса. Стонет донецкий  
кряж. А мы кометой — по трассе. За окнами наш  
пейзаж. Кровавый зрачок заката нацелен на тер-  
рикон... Что это — Фата Моргана или Армагеддон?

На заднем сиденье патроны, разгрузка, гума-  
нитарка, прямо под новой горкой замечен ТТ и  
«макаров». И невесёлые мои мысли клубились,  
будто позёмка. Казалось, нет ни смерти, ни жизни,  
а только эта дорога.

Здесь всё есть пыль.  
Здесь всё есть тлен.  
И лжива была  
Былых поэм.  
Слова всё врут,  
Не врёт лишь грунт!  
И воедино с ним я слит.  
Я монолит.  
Я антрацит.  
И чёрным золотом Земли  
Меня когда-то нарекли.  
Достань меня из тесных недр,  
Достань меня на белый свет,  
Зажги огонь, суровый ГРОЗ,  
И вознеси меня до звёзд.  
Поддай тепла. Поддай огня.  
Сожги дотла. Сожги меня.  
Но здесь теперь другой закон,  
Другой огонь, другой резон.  
Моих титанов имена  
Смывает времени волна...

«Радио Победа» в этот раз передавало не как вести себя при обстрелах и как распознать по звуку, что прилетело, разговор был на тему экономическую: «...положение в угольной отрасли действительно критическое и вызвано в первую очередь причинами рыночными. Нет сбыта».

Вот те раз! Опять мы у разбитого корыта... пропал Донбасс!

«А меры по осушке шахт потянут столько денег... а денег нет...»

Я не дослушала, я, выглянув в окно, среди метели на мосту знакомого старого приметила, и вышла, и прихватила пистолет — тт.

## 17. Встреча на мосту

Нам нечего было скрывать. Мы всё друг про друга знали. Сначала он долго молчал. Я тоже молчала. — Красиво рисуешь, укропчик, — я протянула альбом.

— Я слышал, как ты молилась, — сказал между прочим он. — Так кто это Последний праведник? Последний часовой? Хотя какая мне разница... — дальше он говорил будто бы сам с собой.

Я отправился на восток. В регион тринадцать. В город, в котором детство моё живёт, в город, в котором мой младший брат остался. Я вырос в сердце Донбасса, среди шпаны и урок. В городе Перевальске, или в городе Парижской Коммуны, как раньше он назывался.

Таксист врубил шансон. Я заткнулся и не жужжу, и понеслось по салону: «Песня памяти всесоюзному вору Васе Коржуху:

А он всё так же на короточках,  
А в зубах папиросочка,

И в глазах неподдельный блеск.  
Форту даст пацанам.  
Позавидуешь памяти,  
Не услышишь слов матерных,  
Душ загубленных тоже нет.  
Всё почти за карман».

О, эти маленькие донбасские города! Как говорят креативные блогеры — депрессивные. Каждый такой — будто чёрная дыра... достал сиги, затянулся, вспоминая пацанов из своего двора. Тоха сторчался, Вовчик спился, Серёгу подрезали в тюрьме... И как эпитафия — на пачке надпись: «Тягучая смерть».

А что же мой брат Алёшка — неужели теперь мой враг?

«Давай к нам!» — скажу ему, когда встречу.

А я отвечала ему беспечно:

— А не то ты взорвёшь свои бомбы, и грунтовые воды из шахт и подземных речек вырвутся на свободу, проглотив этот город навечно?

— Можно и не взрывать. Можно их отравить. Отправить вас всех здесь в ад! Знаешь, ведь мой позывной — Полюнь... Разве встречу младшего брата и он сумеет меня отговорить. Тебя я не трону. Не бойся! Здесь, на мосту, мы с тобой растаемся... И всё-таки мне невдомёк: на хрена вы воюете тут? На хрена умираете тут? На хрена вы схватились за земли эти корнями и жизнями, которые никуда не ведут?

А я прошептала:

— Умойся.

И спустила курок.

Я столкнула его в пустоту. Я стояла одна на мосту. Невесёлый конец. А может, и нету конца... Полетела звезда Полюнь в полюнью Донца.

## 18. Свежие шрамы.

### Последний часовой

Помню, бредёт по сугробам, пьян, двустволку на скрипочку обменял: чтобы играла внучка моя, а я бы ей подпевал. Никто не думал тогда, не гадал, что скоро придёт война. И не будет двустволки, а будет «макаров» и рпк. А ещё позывной Старый, или коротко — Стар...

Когда отец мой пришёл в увал, он много историй мне рассказал. Три дня пил и всё говорил, говорил...

Рыли траншеи ночью, поверх старых, времён Великой Отечественной. Они будто шрамы, которые вдрут закровоточили, наполненные жизнью человеческой.

Разрубленные корни, засохший стебелёк... Обстрел идёт. Арта ревет. И взводный что-то мне орёт, а у меня землёй наполнен рот... И я надолго замолчал. Не звал, не плакал, не кричал, во мне

случилась тишина, как будто чёрная стена. Но вот сейчас я говорю, так слушай исповедь мою.

Сорвать чеку, как крышку на чекушке: пусть будет взрыв. Так близость смерти опьяняет лучше и сильней, чем спирт. Хлебни, фашист, холодной ярости моей, за тех парней, что тут лежат, за Ленинград, за Сталинград, за Киев-град, в конце концов, взгляни, фашист, в лицо моё. Я, как комбат, встать буду рад и звать солдат на смертный бой, взгляни, фашист, в лицо моё!

Ё... твою ж мать. Невыученные уроки истории приходится повторять.

Когда-то в низине, в сорок втором, возле села Хорошее, Макс Альперт сделал фото. На нём политрук Алёша Ерёменко в последний миг своей жизни—зовёт в атаку. Теперь возле Бахмутки есть памятник Комбату.

Знаешь, как оживает прошлое? Оно оживает в нас!

Я встретил друга Алёшку в нелёгкий, недобрый час! Он нахохлился, как воробушек, ухватившись за автомат. Блокпост недалеко от Горловки. Холодно. Зима. И стоит он, такой молодой, но уже седой. Посвящён войной в воины. А за его спиной дом родной. А за его спиной—Родина. Её называем матерью. Обзываем её уродиной. Но стоит он, как оловянный солдатик из сказки Андерсена, на блокпосту у Горловки. Стоит наш Последний праведник. Стоит Последний наш часовой. Он словно метка для нашей памяти. Он словно памятник, но живой.

«Кровь сочится сквозь ватник, стекает на землю и в сапоги. Ты медсестра или ангел? Помогли! И снег становится алым, и снег становится тёплым, был я живым солдатом, стану мёртвым! Отныне мой топос—космос, укрытое настом поле, здесь руки мои разбросаны в объятье последней доли.

Сердце щенячьей мордой высунулось наружу. За други своя живот свой я отдаю и душу».

Той ночью снилась мне Богородица, говорила про Святоград. В чёрной степи, припорошённой снегом, в землянке в один накат, Алёшка кончался, на ватнике каплями земляники проступала кровь, и было тепло, даже жарко от предсмертной горячки, и губы спеклись в улыбке кривой: «Только брату не говорите, как умер я, скажите: мол, пал как герой...» И медсестричка Надя влажной губкой промокала ему губы и шептала: «Терпи, родной».

Бей-бей-бей!  
Барабань-барабань-барабань!  
Сердце, я говорю тебе:  
Не замирай!  
Бей-бей-бей,  
Барабань-барабань-барабань!  
Рано тебе  
Переходить за грань,  
Рано тебе  
За горизонт,  
В последний поход.  
Выдох-вдох.  
Рот в рот.

Кровь сочится сквозь ватник, по капле уходит жизнь. Отважный солдат мой! Держись!

Плакать было нельзя, плакать она отвыкла: скоро наступит лето, вырастет земляника, сладкие ягоды, жаркий июнь...

Ах, Алёшка, Алёшка!  
Пал смертью храбрых в бою.

Говорила Родина-мать:  
Не бойся, солдат, умирать!  
Я тебя прикрою, я тебя спасу,  
Я тебя с собою в вечность унесу,  
Там, где колосится жито и ковыль,  
Чтобы вечно жил ты!  
Чтобы вечно жил!

Отпоём отпетых хулиганов-сорвиголов, безымянных и безответных, отдавших живот за любовь.

Отпоём отпетых, пухом земля солдатам отважным и верным, жизнь отдавшим за други своя.

Отпоём отпетых, не зря же мы говорим: «Отныне бессмертны! Вечная память им!»

Не помню, как наступило утро. Я вышел в поле. Гляжу, почерневший подсолнух с головою понурой, будто шахтёр после забоя. Глаз не поднимет. Не шелохнётся. И светится ясным нимбом над ним восходящее солнце. И стоит он совсем один посреди зимы, посреди войны, сторбленный и сухой. Как Последний праведник. Последний часовой.

## Эпилог

Последний часовой стоит на страже родного града. И над ним проносится чёрная конница—чёртовы дети ада! Он падает замертво, успев понять, что позади—пустота, Фата Моргана, нет ни Святограда, ни Новороссии, а только дикое голое поле истории.

И поле возделывает простой ополченец, вернувшись с войны. И восходит солнце, дети собираются в школу, липы благоухают, и мне сдаётся: любовь не сдаётся и не умирает! Ведь так, пацаны?!